

ЗАДАНИЯ

для отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства
«Россия Беларусь: историческая и духовная общность» в 2017 году

Тексты для написания отзыва

А.К. Толстой

* * *

Когда природа вся трепещет и сияет,
Когда её цвета ярки и горячи,
Душа бездейственно в пространстве утопает
И в неге врозь её расходятся лучи.
Но в скромный, тихий день, осеннею погодой,
Когда и воздух сер, и тесен кругозор,
Не развлекаюсь я смиренною природой,
И немощен её на жизнь мою напор.
Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений,
Сосредоточен я живу в себе самом,
И сжатая мечта зовёт толпы видений,
Как зажигательным рождая их стеклом.

Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом,
Иду меж озимей, чернеющей дорогой;
Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор,
На пруд и мельницу, на дикий косогор,
На берег ручейка болотисто-отлогий,
И в ближний лес вхожу. Там покрасневший клён,
Ещё зелёный дуб и жёлтые берёзы
Печально на меня свои стряхают слёзы;
Но дале я иду, в мечтанья погружён,
И виснут надо мной полунагие сучья,
А мысли между тем слагаются в созвучья,
Свободные слова теснятся в мерный строй,
И на душе легко, и сладостно, и странно,
И тихо всё кругом, и под моей ногой
Так мягко мокрый лист шумит благоуханный.

С.Я. Маршак

* * *

Тебе пишу я этот дифирамб,
Мой конь крылатый - пятистопный ямб.
Стих Дантовых терцин и драм Шекспира,
Не легковесен ты и не тяжёл,
Недаром ты века победно шёл
Из края в край, звуча в сонетах мира.

Передаёшь ты радость, гнев и грусть,
Тебя легко запомнить наизусть,
Ты поэтичен в самой трезвой дозе,
И приближаешься порою к прозе.
Невыносим тебе казённый штамп,
Размер свободный - пятистопный ямб.

Чуждаешься ты речи сумасбродной,
Не терпишь ты и классики холодной.
Несут поэта, о волшебный стих,
И в ад и в рай пять лёгких стоп твоих.

1944 или 1945

В.С. Высоцкий

Баллада о борьбе

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.

Детям вечно досаден
Их возраст и быт —
И дрались мы до ссадин,
До смертных обид.
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз.
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И пытались постичь —
Мы, не знавшие войн,
За воинственный клич
Принимавшие вой, —
Тайну слова «приказ»,
Назначенье границ,
Смысл атаки и лязг
Боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея слезам
Не давали остыть,
И прекраснейших дам
Обещали любить;
И, друзей успокоив
И ближних любя,
Мы на роли героев
Вводили себя.

Только в грёзы нельзя насовсем убежать:
Краткий век у забав — столько боли вокруг!
Попытайся ладони у мёртвых разжать
И оружие принять из натруженных рук.

Испытай, завладев

Ещё тёплым мечом
И доспехи надев, —
Что почём, что почём!
Испытай, кто ты – трус
Иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус
Настоящей борьбы.

И когда рядом рухнет израненный друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили – его, не тебя, –

Ты поймёшь, что узнал,
Отличил, отыскал
По оскалу забрал –
Это смерти оскал! –
Ложь и зло — погляди,
Как их лица грубы,
И всегда позади –
Воронье и гробы!

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём, –
Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Если мяса с ножа
Ты не ел ни куска,
Если руки сложа
Наблюдал свысока
И в борьбу не вступил
С подлецом, с палачом –
Значит, в жизни ты был
Ни при чём, ни при чём!

Р.И. Рождественский

Людам, чьих фамилии я не знаю

По утрам
на планете мирной
голубая трава в росе...

Я не знаю
ваших фамилий.
Знаю то,
что известно всем.
...Бесконечно
дышит
Вселенная.

Мчат ракеты,
как сгустки солнца.
Это
ваши мечты и прозрения.
Ваши знания.
Ваши бессонницы...
...Знаю только,
что где-то
ретиво –
в предвкушеньи военного грома –
зря
от тяжести реактивной
прогибаются
аэродромы!
Не рискнут они.
Не решатся.
Вашей силы
они страшатся...

Говорят о вас просто:
«атомники».
Именуют скромно
«ракетчиками»...

Дорогие наши товарищи,
лишь известностью
не обеспеченные.
Вам даются награды
негласно.
Рядом с нами вы.
И не с нами.
Мы
фамилий ваших
не знаем, –
только вы и на это
согласны.

От чужого укрыты взгляда,
от любого укрыты взгляда.
Ничего не поделаешь –
надо.
Ничего не попишешь –
надо.
О, суровая правда века!..

Люди в чьих-то штабах
упрямы.
Составляет
чья-то разведка
далеко идущие
планы.
И купюры крупные
стелет...
Только что вам
до этих
денег!
Вы бы даром
светло и доверчиво, –
если б дело
пошло
на это, –
положили б
к ногам
Человечества
все до капельки
сверхсекреты!
Сколько б вы
напридумали разного!
Очень нужного
и удивительного!
Вы-то знаете,
что для разума
никаких границ
не предвидено.
Как бы людям
легко дышалось!
Как бы людям
светло любилось!
И какие бы мысли бились
в полушарьях
земного шара!

Но пока что
над миром веет
чуть смягчающееся
недоверье.
Но пока
дипломаты высокие
сочиняют послания

мягкие...
До поры до времени
всё ж таки
остаётся вы
безымянными.
Безымянными.
Нелюдимыми.
Гениальными невидимками...

Каждый школьник
в грядущем мире
вашей жизнью
хвастаться будет...
Низкий-низкий поклон вам,
люди!
Вам, великие,
без фамилий.

1960

* * *

Что другим не нужно — несите мне:
Всё должно сгореть на моём огне!
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В лёгкий дар моему огню.

Пламень любит лёгкие вещества:
Прошлогодний хворост — венки — слова...
Пламень пышет с подобной пищи!
Вы ж восстанете — пепла чище!

Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю и горю дотла,
И да будет вам ночь светла.

Ледяной костёр, огневой фонтан!
Высоко несу свой высокий стан,
Высоко несу свой высокий сан —
Собеседницы и Наследницы!

Игорь Северянин

Русская

Кружевет, розовеет утром лес,
Паучок по паутинке вверх полез.

Бриллиантится весёлая роса.
Что за воздух! что за свет! что за краса!

Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,

Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхо: «ха-ха-ха!»

Ах, люблю бесцельно утром покричать,
Ах, люблю в берёзках девку повстречать,

Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица её предутреннюю тень,

Пробудить её невыспавшийся сон,
Ей поведать, как в мечтах я вознесён,

Обхватить её трепещущую грудь,
Растолкать её для жизни как-нибудь!

1910

Россия

1

С Руси тянуло выстуженным ветром.
Над Карадагом сбились груды туч.
На берег опрокидывались волны,
Нечастые и тяжкие. Во сне,
Как тяжело больной, вздыхало море,
Ворочаясь со стоном. Этой ночью
Со дна души вздувалось, нагрубало
Мучительно-бесформенное чувство —
Безмерное и смутное — Россия...
Как будто бы во мне самом легла
Бескрайняя и тусклая равнина,
Белёсою лоснящаяся тьмой,
Остуженная жгучими ветрами.
В молчании вился морозный прах:
Ни выстрелов, ни зарев, ни пожаров;
Мерцали солью топи Сиваша,
Да камыши шуршали на Кубани,
Да стыл Кронштадт... Украина и Дон,
Урал, Сибирь и Польша — всё молчало.
Лишь горький снег могилы заметал...
Но было так неизъяснимо томно,
Что старая всей пережитой кровью,
Усталая от ужаса душа
Всё вынесла бы — только не молчанье.

1924

М. Горький

Как сложили песню

Вот как две женщины сложили песню, под грустный звон колоколов монастыря, летним днём. Это было в тихой улице Арзамаса, пред вечерней, на лавочке у ворот дома, в котором я жил. Город дремал в жаркой тишине июньских будней. Я, сидя у окна с книгой в руках, слушал, как моя кухарка, дородная рябая Устинья, тихонько беседует с горничной моего шабра, земского начальника.

- А ещё чего пишут? - выспрашивает она мужским, но очень гибким голосом.

- Да ничего ещё-то, - задумчиво и тихонько отвечает горничная, худенькая девица, с темным лицом и маленькими испуганно-неподвижными глазами.

- Значит, - получи поклоны да пришли деньжонок, - так ли?

- Вот...

- А кто как живёт - сама догадайся... эхе-хе...

В пруду, за садом нашей улицы, квакают лягушки странно стеклянным звуком; назойливо плещется в жаркой тишине звон колоколов; где-то на задворках всхрапывает пила, а кажется, что это храпит, уснув и задыхаясь зноем, старый дом соседа.

- Родные, - грустно и сердито говорит Устинья, - а отойди от них на три версты - и нет тебя, и отломилась, как сучок! Я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала. Будто не вся живёшь - не вся вместе, - а половина души в деревне осталась, и всё думается день-ночь: как там, что там?..

Её слова словно вторят звону колоколов, как будто она нарочно говорит в тон им. Горничная, держась за острые свои колени, покачивает головою в белом платке и, закусив губы, печально прислушивается к чему-то. Густой голос Устиньи звучит насмешливо и сердито, звучит мягко и печально.

- Бывало - глoenixь, слепнешь в злой тоске по своей-то стороне; а у меня и нет никого там: батюшка в пожаре сгорел пьяный, дядя - холерой помер, были братья - один в солдатах остался, ундером сделали, другой - каменщик, в Бойгороде живёт. Всех будто половодьем смыло с земли...

Склоняясь к западу, в мутном небе висит на золотых лучах красноватое солнце. Тихий голос женщины, медный плеск колоколов и стеклянное кваканье лягушек - все звуки, которыми жив город в эти минуты. Звуки плывут низко над землёю, точно ласточки перед дождём. Над ними, вокруг их - тишина, поглощающая всё, как смерть.

Рождается нелепое сравнение: точно город посажен в большую бутылку, лежащую на боку, заткнутую огненной пробкой, и кто-то лениво, тихонько бьёт извне по её нагретому стеклу.

Вдруг Устинья говорит бойко, но деловито:

- Ну-козь, Машутка, подсказывай...

- Чего это?

- Песню сложим...

И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запекает:

Эх, да белым днём, при ясном солнышке,

Светлой ноченькой, при месяце...

Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, вполголоса поёт:

Беспокойно мне, девице молодой...

А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца:

Всё тоскою сердце мается...

Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо:

- Вот она и началась, песня! Я те, милая, научу песни складывать, как нитку сучить... Ну-ко...

Помолчав, точно прислушавшись к заунывным стонам лягушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла словами и звуками:

Ой, да ни зимою вьюги лютые,

Ни весной ручьи веселые...

Горничная, плотно придвинувшись к ней, положив белую голову на круглое плечо её, закрыла глаза и уже смелее, тонким вздрагивающим голоском продолжает:

Не доносят со родной стороны

Сердцу весточку утешную...

- Так-то вот! - сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по колену. - А была я моложе - того лучше песни складывала! Бывало, подруги пристают: «Устюша, научи песенке!» Эх, и зальюсь же я!.. Ну, как дальше-то будет?

- Я не знаю, - сказала горничная, открыв глаза, улыбаясь.

Я смотрю на них сквозь цветы в окне; певицы меня не замечают, а мне хорошо видно глубоко изрытую оспой, шершавую щеку Устиньи, её маленькое ухо, не закрытое жёлтым платком, серый бойкий глаз, нос прямой, точно у сороки, и тупой подбородок мужчины. Это баба хитрая, болтливая; она очень любит выпить и послушать чтение святых житий. Сплетница она на всю улицу, и больше того: кажется, все тайны города в кармане у неё. Рядом с нею, крепкой и сытой, костлявая, угловатая горничная - подросток. Да и рот у горничной детский; маленькие, пухлые губы надуты, точно она обижена, боится, что сейчас ещё больше обидят, и вот-вот заплачет.

Над мостовой мелькают ласточки, почти касаясь земли изогнутыми крыльями: значит, мошкара опустилась низко, - признак, что к ночи соберётся дождь. На заборе, против моего окна, сидит ворона неподвижно, точно из дерева вырезана, и чёрными глазами следит за мельканием ласточек. Звонить перестали, а стоны лягушек ещё звучней, и тишина гуще, жарче.

Жаворонок над полями поёт,

Васильки-цветы в полях зацвели,

- задумчиво поёт Устинья, сложив руки на груди, глядя в небо, а горничная вторит складно и смело:

Поглядеть бы на родные-то поля!

И Устинья, умело поддерживая высокий, качающийся голос, стелет бархатом душевные слова:

Погулять бы, с милым другом, по лесам!..

Кончив петь, они длительно молчат, тесно прижавшись друг ко другу; потом женщина говорит негромко, задумчиво:

- Али плохо сложили песню? Вовсе хорошо ведь...

- Гляди-ко, - тихо остановила её горничная.

Они смотрят в правую сторону, наискось от себя: там, щедро облитый солнцем, важно шагает большой священник в лиловой рясе, мерно переставляя длинный посох; блестит серебряный набалдашник, сверкает золочёный крест на широкой груди.

Ворона покосилась на него чёрной бусиной глаза и, лениво взмахнув тяжёлыми крыльями, взлетела на сучок рябины, а оттуда серым комом упала в сад.

Женщины встали, молча, в пояс, поклонились священнику. Он не заметил их. Не садясь, они проводили его глазами, пока он не свернул в переулок.

- Охо-хо, девушка, - сказала Устинья, поправляя платок на голове, - была бы я помоложе да с другой рожей...

Кто-то крикнул сердито, сонным голосом:

- Марья!.. Машка!..

- Ой, зовут...

Горничная пугливо убежала, а Устинья, снова усевшись на лавку, задумалась, разглаживая на коленях пёстрый ситец платья.

Стонут лягушки. Душный воздух неподвижен, как вода лесного озера. Цветисто догорает день. На полях, за отравленной рекой Тёшей, сердитый гул, - дальний гром рычит медведем.

Один маляр всю свою жизнь честно красил стены, крыши и заборы и стал очень знаменитым и богатым мастером. Он перестал разговаривать с простыми людьми, ни с кем не здоровался, но зато каждое утро ходил со своими красками и кистями во двор к богачу, хозяину города.

Правда, люди рассказывали, что раньше этот маляр был добрым человеком и даже однажды спас паука, который тонул в ведре с краской. Но с тех пор прошло много времени, и маляр сильно изменился, стал суровым, всё время молчал и разговаривал только со своей дочерью.

И единственное, за что его люди уважали, – это за то, что он был действительно хороший маляр. Он красил дома в красные, синие и зелёные цвета, а заборы делал в клеточку и в горошек. Крыши у него получались золотые, и весь город из-за этого сверкал и переливался на солнце.

Но всё-таки маляра не любили за то, что он каждое утро ходил к толстому богачу. Зачем он ходит – никто не знал, выдумывали всякие причины, а один человек даже сказал, что видел через забор, как маляр красит богача розовой краской. И самый старый старик в городе ответил на это, что, конечно, всякий может рассказывать всё, что ему в голову взбредет, но никто ещё никогда не слыхивал, чтобы человека красили краской – ведь всякому известно, что, если человека выкрасить, он задохнётся и умрёт.

Так что никто не знал правды, а мы с вами узнаем. Однажды, когда маляр уже собирался уходить из дворца богача, богач сказал ему:

– Постой. Я знаю, ты великий мастер. В нашем ветхом, старом городишке ты навёл такую красоту, что все думают, будто это новый прекрасный город. Все стали очень довольны своей жизнью и радуются, что живут в таких красивых домах, хотя дома развалятся при первом же урагане.

Маляр сказал:

– Моё дело красить. Чьё-то дело строить дома, чьё-то дело разрушать дома, а моё дело – красить. Я честно работаю на своём месте. Если все будут честно работать каждый на своём месте, как это делаю я, то на свете не останется ничего плохого. Но я ведь не буду всех учить: ты работаешь плохо, а ты вообще не работаешь. Это не моё дело. Это дело кого-то другого. Моё дело красить, и я это дело люблю, а на все остальное я не обращаю внимания.

– Тебе всё равно, что красить? – спросил богач.

– Всё равно, – ответил маляр, – хоть вас, хоть луну, хоть дубовый шкаф. Я любую вещь раскрашу так, что она засияет.

– Послушай, – сказал богач. – Этот город принадлежит мне. Я его купил уже давно.

– Мне всё равно, – ответил маляр. – Ты его купил, а я в нём живу и его раскрашиваю. Покупать города – это не моё дело.

– Да, – сказал богач, – этот город мой. Ты его хорошо раскрасил, в нём приятно жить. Но я ведь знаю, какой ветхий этот городишко. Он скоро развалится. Так что перед тем как этот город развалится, я хочу его продать. Его будет очень легко продать, он ведь красивый. Однако я тебя попрошу сделать одну работу.

– Работать я люблю, – сказал мастер.

– Видишь ли, – продолжал богач, – я хочу продать город одному людоеду. Этот людоед очень любит золотые яблочки. Он просто жить не может без золотых яблочек.

– А я тут при чём? – спросил маляр. – Выращивать яблоки – не моё дело.

– Я хочу попросить тебя, – сказал богач, – чтобы ты раскрасил все листья на всех деревьях в городе золотой краской. Это очень трудная работа. Но тогда я скажу людоеду, что у меня в городе на всех деревьях растут золотые яблоки. Раз листья золотые – то и яблоки будут золотые. И он поверит.

Маляр сказал:

– Но ведь это очень сложная работа – раскрашивать каждый листик золотой краской.

– Я знаю, что это трудная работа, – ответил богач, – и что эту работу в целом мире можешь сделать только ты. Но я ведь тебе облегчу работу – у меня есть цистерна с золотой краской. Ты будешь просто стоять под деревом и, как дворник, поливать листья из шланга золотой краской.

– Как дворник? – переспросил маляр. – Эта работа мне не подходит. Такую работу может вам сделать любой человек, а я великий мастер.

– Ну хорошо, хорошо, – сказал богач. – Не надо из шланга. Раскрашивай каждый листик отдельно. У тебя получится так прекрасно, так красиво, всё будет просто сиять. И мы обманем людоеда!

– Это не моё дело – обманывать людоеда, – сказал маляр. – Моё дело – красить.

Наутро маляр приступил к работе. Он сидел на верхушке дерева и раскрашивал один листик за другим.

– Глупая работа, – говорили жители друг другу, – листья задохнутся под слоем краски и засохнут.

Однако маляр их не слышал и продолжал терпеливо красить листья. Но когда он дошёл до нижних веток, сверху один за другим начали падать раскрашенные листья.

– Хозяин, – сказал маляр богачу, – листья-то падают. Моя работа пропадёт.

– Что ты, – закричал богач, – эти листья просто подумали, что наступила осень. Сейчас я пришлю рабочих, и они приклеят все листья обратно.

Так и пошла работа: маляр красил, листья падали, рабочие их ловили и приклеивали обратно.

И когда маляр закончил раскрашивать первое дерево, а рабочие закончили приклеивать листья, богач закричал:

– Очень красиво! Совсем как настоящая золотая яблоня! Ты просто самый лучший маляр в мире!

В это время подул ветер, и листья заскрежетали, как жестяные.

– Вот! Слышишь? – воскликнул богач. – Они звенят, как настоящее золото!

И маляр ему ответил:

– Если работаю я, то можно быть спокойным: дело будет сделано как надо.

На следующий день, когда маляр подошёл к следующему дереву, богач его остановил и сказал:

– Пока хватит одного золотого дерева. Я выяснил, что гораздо больше золотых яблочек людоед любит золотых людей. Понимаешь? Надо выбрать самую красивую девочку в городе – хотя бы твою дочь, чтобы она, раскрашенная золотой краской, встречала людоеда. Тогда-то он обязательно купит мой город!

– Людей нельзя красить краской, – сказал маляр. – Люди это не заборы.

– Как это нельзя? – закричал богач. – Что ты мне сказки рассказываешь? Разве ты не ходишь ко мне каждое утро, а?

– То ведь ты, – сказал маляр, опустив голову.

– Ах, вот как ты заговорил? – спросил богач. – Сейчас я позову своих слуг, и они сами раскрасят твою дочь в золотой цвет. И они не будут раскрашивать её мягкой кистью, а просто обольют из шланга золотой краской. Это будет грубая работа, но мне теперь уже всё равно. Надо торопиться.

Тогда маляр сказал:

– Ладно. Я раскрашу мою дочь. Я раскрашу мою дочь – но не мягкой кисточкой, а прямо из шланга. Это я сделаю завтра. Только предупреди всех жителей города, пусть они не выходят завтра из домов, и ты не выходи – а то я могу случайно облить кого-нибудь золотой краской. А людоед ведь любит золотых людей.

– Договорились! – сказал богач и ушёл к себе во дворец.

Рано утром маляр со своей дочерью вышли из дому и закричали:

– Все спрячьтесь! Если золотая краска попадёт кому-нибудь в глаз – можно ослепнуть! Все спрячьтесь!

И все спрятались и даже задёрнули окна занавесками. Но спрятались не потому, что боялись ослепнуть, а потому, что не хотели видеть, как маляр будет губить свою дочь. Все сидели по домам и плакали.

И вот на главной площади раздался сильный шум – как будто шёл дождь. Но жители города знали, что это просто краска льётся из шланга, и плакали навзрыд.

А потом шум стал раздаваться по всему городу, на всех улицах – и жители города поняли, что маляр решил выкрасить весь город в золотой цвет и теперь поливал из шланга всё подряд – дома, заборы, деревья.

И горожане продолжали плакать:

– Как жалко, что теперь наш красивый, разноцветный город станет одноцветным. Маляр, наверное, и всех птичек покрасит, и всех бродячих собак. И мухи у нас все будут золотые...

Наконец шум на улицах прекратился. И маляр закричал:

– Теперя все до одного выходите!

Горожане вышли на улицу и чуть не попадали от удивления. Города нельзя было узнать. Не осталось никаких ярких, весёлых домов, золотых крыш и клетчатых заборов.

Всюду виднелись только дырявые стены, почерневшие от времени заборы, ржавые крыши...

– Что ты наделал! – закричал богач.

– Я просто вымыл город водой из шланга, а моя дочь мне помогала, – ответил маляр. – Ведь никто не замечал, что мы живём в дырявом, старом, бедном городишке.

– Да как ты смеешь! – закричал богач. – Это не твой город, а мой. Сейчас я позову слуг, и тебя бросят в яму!

– Только попробуй, – сказала дочь маляра и направила на богача свой шланг. Богач выхватил револьвер, но прямо в лицо ему била струя воды, и он никак не мог нажать курок.

Да и руки у него становились всё короче и короче. С богачом вообще творились странные вещи: он как будто начал размываться. Он уменьшался в размерах, делался всё ниже, всё мельче. С него ручьями стекала розовая краска, и он уже стоял в большой луже, и в конце концов вместо толстого розового богача все увидели чёрного паука, который барахтался в луже розовой краски.

– Помогите! – кричал паук. – Мастер, вытащи меня снова из этой краски, ты ведь меня уже однажды вытаскивал! Мешок золота за спасение!

Но мастер покачал головой и сказал:

– Я здорово поумнел с тех пор!

И дочь маляра смыла паука в водосточную канаву.

<...> И вдруг стукнула судьба.

Семён Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахара, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг – дзынь! Резко звякнуло оконное стекло и сейчас же – дзынь! – зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семён Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семён Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Её обступили, слушали. Дворник объяснил:

– Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

– На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

– Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами – про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семёна Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошёл в дворницкую и сел у горячей печки.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семён Иванович пошевелится, девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

– На Екатерингофском канале лавошники околотошного жарят заживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактактакало.

Семён Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово – Революция – взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стучало из тумана.

Мрачно было на душе у Семёна Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семён Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещённая из прихожей, стояла женщина удивительной красоты – темноглазая, бледная, в шёлковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

– Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идём...» – «Здесь она». – «Брось, идём, ну её к чёрту...» – «Ну, так она на другой лестнице...» – «Брось, идём...» Шаги застучали вниз, голоса затихли. <...>

<...> А через несколько часов, получив у каптенармуса и примерив форменное обмундирование, с тем чтобы надеть его на другой день с утра, Ваня, исполняя приказание трубы, уже спал вместе с другими воспитанниками в большой тёплой комнате, на отдельной кровати, под новеньким байковым одеялом.

На рассвете, незадолго перед подъёмом, старый генерал, начальник училища, который всегда просыпался раньше всех, обходил, по своему обыкновению, спальни, для того чтобы посмотреть, как спят его мальчики.

Он остановился возле Ваниной койки и долго стоял, рассматривая мальчика. Ваня спал очень глубоким, но беспокойным сном, сбросив с себя одеяло и раскидавшись. По его лицу пробегали отражения снов, которые он видел. Каждую минуту оно меняло выражение.

Душа мальчика, блуждающая в мире сновидений, была так далека от тела, что он не почувствовал как генерал покрыл его одеялом и поправил подушку.

Генерал смотрел на его одухотворённое спящее лицо, и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького солдата, в самую её глубину, прочесть самые его сокровенные чувства.

Генералу была известна Ванина история во всех подробностях. Знал он, конечно, и то, что в батарею мальчика прозвали пастушком. И это особенно нравилось генералу. Он сам происходил из простой крестьянской семьи. Он любил иногда вспоминать своё детство.

И теперь, глядя на спящего пастушка, генерал — совершенно так, как однажды ефрейтор Биденко, — вспомнил своё детство: раннее деревенское утро, коров, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зелёному лугу, разноцветные искры росы — огненно-фиолетовые, синие, красные, жёлтые, — и в руках у себя вспомнил маленькую, вырезанную из бузины дудочку, из которой он выдувал такие тонкие и такие нежные однообразные и вместе с тем весёлые звуки.

Он невольно посмотрел на руку мальчика, выпроставшуюся из-под одеяла. Маленькие пальцы шевелились во сне, как будто перебирали скважины свирели.

И старый боевой генерал, герой гражданской войны, дравшийся под Царицыном, под Кронштадтом и под Орлом и сражавшийся во время Великой Отечественной войны под тем же Орлом и под тем же Царицыном, ставшим уже Сталинградом, — этот мужественный, суровый человек, с седой лысой головой, грубым морщинистым лицом и светлыми бесстрашными глазами, вдруг опустил голову, погладил себя по сивым усам и нежно улыбнулся.

И в это время с лестницы по коридорам и залам прилетел звук трубы, заигравшей подъём.

Ваня тотчас услышал властный, резкий, требовательный голос трубы, но проснулся не сразу. Он ещё некоторое время лежал с закрытыми глазами, не будучи в силах сразу вырваться из оцепенения сна.

Тогда генерал наклонился и слегка потянул мальчика за руку.

В то самое время Ване снился последний, предутренний сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву.

Ване снилась длинная белая дорога, по которой белый грузовик вёз тело капитана Енакиева. Вокруг стоял дремучий русский бор, сказочно прекрасный в своём зимнем уборе. Четыре солдата с автоматами на шею стояли по углам гроба, покрытого полковым знаменем. Ваня был пятый, и он стоял в головах.

Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно освещённые звёздами, блестели, словно были натёрты фосфором.

Ели, стоявшие по колено в сугробах, были громадно высоки. По сравнению с ними телеграфные столбы казались маленькими, как спички. Но ещё выше было небо, всё засыпанное зимними звёздами. Особенно прекрасно сверкали звёзды впереди, на том чёрном бархатном треугольнике неба, который соприкасался с белым треугольником бегущей дороги. Там дрожало и переливалось несколько таких крупных и таких чистых созвездий, словно они были выгранены из самых лучших и самых крупных алмазов в мире.

Узкий ледяной луч прожектора иногда скользил по звёздам. Но он был не в силах ни погасить, ни даже ослабить их блеск — они играли ещё ярче, ещё прекраснее.

А вокруг стояла громадная тишина, которая казалась выше елей, выше звёзд и даже выше самого чёрного бездонного неба.

Внезапно какой-то далёкий звук раздался в тёмной глубине леса. Ваня сразу узнал его: это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его. И тотчас всё волшебным образом изменилось. Ели по

сторонам дороги превратились в седые плащи и косматые бурки генералов. Лес превратился в сияющий зал. А дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, окружённую пушками, барабанами и трубами.

И Ваня бежал по этой лестнице.

Бежать ему было трудно. Но сверху ему протягивал руку старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным сухим лбом.

Он взял Ваню за руку и повёл его по ступенькам ещё выше, говоря:

— Иди, пастушок... Шагай смелее!

1944

Примечание: Участник олимпиады выбирает для написания отзыва один из предложенных текстов.